

На пограничной станции Отпор по дощатому перрону шла молодая кореянка. В одной руке она держала грудного, туго запеленутого ребенка, в другой — огромный фибровый чемодан. За потертый угол чемодана придерживалась пятилетняя девочка. Она часто семенила, стараясь не отставать от женщины, лицо ее было заплаканным и потому грязным от размазанных высохших слез. На стук каблуков, на гул досок лениво оборачивались люди, ожидавшие поезда. Мужчины молчаливо курили — сизый дым клубился над их головами, над платформой; местные бабы, торговавшие вареной картошкой в судках, скучно разглядывали вновь прибывших, скучно качали головами и приговаривали: «Во-о, переселенцы идут, много ща-а их развелось, знамо, сбегают...»

Почти что сутки ожидали они прибытия поезда, который должен был отвезти их к бабушке в Алма-Ату, город яблок и солнца, но — растянулись минуты, часы ожидания, застыли, пронизанные ноябрьским холодом, повисли на сломанных вокзальных часах ледяными мертвыми сосульками. Мать покупала в буфете без-

вкусную колбасу, похожую на резину, кормила старшую, оттого и ожидание казалось девочке каким-то безвкусным, нескончаемым. Женщина давала ребенку грудь прямо в пыльном и душном зале ожидания, губы младенца цепко хватали сосок, раздавалось аппетитное чавканье, та облегченно вздыхала — дети были рядом. А по другую сторону границы в уже далеком городе Пхеньяне не находил себе места отец, ходил из угла в угол по опустевшей квартире, присаживался на чистую супружескую постель и вновь бросался к письменному столу. «Ты все преувеличила. Здесь можно вырастить детей, поставить их на ноги. То, что сейчас происходит в стране, — временно. Наступят лучшие времена. Вернись... — писал он, пытаясь понять жену. — Вернись... Вырастет сын, все поймет и никогда не простит тебе этого!»

Это письмо догонит и обгонит поезд, который прибывал сейчас с точным опозданием на станцию. Там, в Алма-Ате, женщина обнаружит в почтовом ящике заграничный конверт, разорвет его дрожащими руками, прочтет письмо и, не решаясь выбросить, спрячет в деревянную кладовку во дворе. Письмо со временем пожелтеет, расплывутся, размажутся от сырости округлые по-школьному выписанные буквы русского алфавита, из которых с трудом можно будет различить лишь часто повторяемое «вернись... вернись... вернись...»

В вагоне было накурено, пахло снedyю и мочой из туалета, дверь которого не закрывалась и уныло постукивала сбитой щеколдой о дверной косяк. В тамбуре толпились небритые русые мужчины, сквозь густые усы которых стойко прорастали дымившиеся сигарки, и седые старики-корейцы с изможденными лицами цвета табачного дыма. Через тамбур то и дело проходили проводницы, вяло покрикивали на мужчин, протискиваясь между ними. Женщина с ребенком на руках шла по проходу вагона, озираясь на скопления тел, заполнявших нижние и верхние полки, за ней плелась девочка, испуганно покусывая свой посиневший от холода кулачок. Наконец в одном из купе люди потеснились, корейка осторожно присела на краешек полки, бережно прижимая к груди запеленутое тельце, и, поставив чемодан рядом с собой, в проходе, смущенно огляделась.

Поезд останавливался чуть ли не на каждой станции, люди лениво выглядывали из мутных окон, женщина с ребенком на руках дремала, а девочка, согрившись чаем, каждый раз выбегала на платформу, чтобы запомнить эту длинную дорогу и по приезде рассказать о ней бабушке. Но на одной из станций, когда поезд уже тронулся, девочки не оказалось на месте, и мать, разбуженная стариком-корейцем, побежала, причитая, к выходу. Но до двери она не добежала, споткнулась о чью-то ногу в проходе и упала. Ребенок выскользнул из ее рук, мягко стукнулся о пол и покатился между чужими туфлями и чемоданами, раздражаясь истошным воплем.

Младенец катился, как полено, берегаемый толстым слоем пеленок и одеяла, а в его раскрытых изумленных глазах стремительно переворачивался весь этот дымный вагонный мир.

Женщина поднялась с пола, схватила сверток и жалобно заголосила, судорожно ощупывая завернутое в тряпки тельце. Потом обреченно присела во внезапно наступившей темноте. И вдруг хлопнула дверь — хлопнула, как выстрелила, вздрогнул младенец, вновь взрываясь пронзительным воплем. Старая проводница легонько подтолкнула к матери заплаканную девочку. Этим младенцем был я, а девочкой, успешней запрыгнуть в соседний вагон тронувшегося поезда, была моя сестра. Мы ехали дальше.

Через много лет сестра рассказала мне, как по приезде взволнованная бабушка положила меня на минутку на старый топчан, чтобы принять в свои объятия измученных дорогой дочь и внучку, и я, шестимесячный ребенок, тут же завершил свой рев, не прекращавшийся с самого вокзала, т.к. был очарован красочными узорами висевшего на стене ковра. Впредь меня часто подкладывали на это волшебное место, чтобы останавливать мои звонкие капризы.

Палец послушно ложился на яркую линию узора. Но как только он начинал двигаться, вышитые нитками кривые незаметно сливались друг с другом переходами цветов: все пестрило, как и смутные образы первых лет моей жизни — стертых в памяти до неразличимости.

Отчетливо помню, как уже в пятилетнем возрасте засыпал на топчане, привычно следуя глазами по изгибам любимого голубого; где-то на пересечении с зеленым меня объял сон: все смазалось в дымчатых сумерках усталости, но глаза каким-то внутренним зрением следовали по начатому пути, вели кривую сквозь пелену усталости, от которой, как от промельков дождя на стекле, оставался еле различимый тающий росчерк. Проснулся я — уже не помню, через сколько времени, — раскрыл глаза и увидел конечную точку голубой кривой, этакий золотой узелок, и с этого момента пробуждения мое грядущее уже четко и упорядоченно укладывается в памяти, не было пробелов — и, главное, не было для меня более цветных узоров.

С тех пор ковер стал для меня будничной вещью среди множества подобных, населявших человеческое жилье. Не знаю, плакать надо было или радоваться моему «старению» — я просто не успел подумать об этом: высвободившись из одной игры, я сразу же попал в круговорот совсем иных игр, уже врывавшихся бурными потоками в русло моего детства.

Когда мне исполнилось шесть лет, бабушка вышла замуж во второй раз за русского балетмейстера, основывавшего первую балетную школу в Казахстане. Мой родной дед, по фотографиям курчавый стройный красавец, похожий больше на цыгана, чем на корейца, жил в Караганде, и его жизнь была плотно окутана завесой скорбного женского молчания. Еще раньше во мне затаилась жгучая обида на всех женщин, родственно окружавших меня: я ничего не знал об отце, о деде. Меня окружали одни пожелтевшие фотографии с плоскими изображениями людей, числившихся мне родными, и я тщетно пытался оживить их в своем воображении.

Наглотавшись пыли от листаемых мной семейных альбомов, я бросался к другому деду, мечтая проникнуться его мужской силой и стать, но он, пока чужой мне голубоглазый мужчина, широкоплечий и стройный, был слишком высок для меня, недосыгаем, и я молчаливо плюхался на пол в окружение неживых игрушек, к его ногам, неизменно развернутым в первой балетной позиции.

Тогда бабушка вела бессмысленную переписку с Ростовским судом в поисках родной сестры, репрессированной в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Мать моя, будучи семилетней девочкой, гостила некоторое время у тетки в Ростове-на-Дону. В один из вечеров к ним пришли двое незнакомых мужчин. Они долго копались в теткинских вещах и, не обнаружив в них ничего подозрительного, увели девочку из дома. В ответ на мои пытливые распросы мать только согласно кивала головой, словно теряя дар речи, дар памяти, и скоро ставила точку: «Да ничего особен-

ного и не запомнилось. Мне казалось, что все так и должно было быть и те двое желали мне добра. Помню только вещи, раскиданные по всей комнате, и то, как я подумала: «Вот непорядок... Почему такой непорядок?»»

Наступала полная тишина, и я, не зная, как получить более подробный ответ, обреченно отпуская спинку кресла-качалки, в котором сидела мать, еще молодая женщина.

Она вязала, мирно поблескивая спицами, кресло раскачивалось — казалось, пустое, — а я уже видел эти белые пятна одежды в наводнявших комнату сумерках — одежды, утратившей свою форму и тепло людей, которые ее когда-то носили. А кресло качалось как заведенное, уныло поскрипывало, и за его высокой спинкой не было видно этой родной мне, ничего не помнившей женщины. И я вдруг произнесил вне себя от обиды, разочарования, жалея мать и в то же время злясь на нее, чужие, словно вложенные в меня кем-то слова: «Да что ж ты так сидишь... в темноте, без движения?» Кресло останавливалось, мать поворачивала ко мне свое удивленное лицо и недоуменно, с ноткой возмущения спрашивала: «А что же... А что же я должна делать? Что прикажешь?»

Мы с сестрой жили на нижнем этаже, этаже нашего роста. Оттуда, сверху, нам кое-что «перепадало» — все те же семейные фотографии, телеграммы, отчеты судебных инстанций Ростовского округа. Все эти бумажки плавно осыпались на нас, игравших, сидя на деревянном полу, осыпались бесполезными свидетельствами и отчетами уже решенных человеческих судеб, о которых мы и не ведали, и становились нашими новыми игрушками, как и те опавшие осенние листья, которые мы собирали ярко-желтыми, лимонными букетами на улицах. Нас было много — пятеро в маленькой двухкомнатной квартирке, — потому было хлопотно, шумно и даже весело, но изо всех стен, наново оклеенных свежими обоями, изо всех штор, плотно ограждавших нас от внешнего мира, неуничтожимо веяло сквозняком, духом разлуки: отца не было с нами.

3

Однажды я с сестрой и еще несколькими соседскими детьми затеяли в нашей квартире игру в жмурки. Особенное ощущение всегда охватывало меня, когда мое лицо плотно перевязывали тряпкой. Мир словно отступал с последним туго завязанным узелком, застилая глаза душной колючей тканью, веки напрягались двумя плотно пружинящими комочками — оставались шорохи, звуки, и я начинал свое слепое шествие, пытаюсь ухватить руками вдруг исчезнувший мир.

Я слышал чьи-то сдавленные смешки, грохот падавших стульев, затем бросался в сторону, делая обманные выпады — все было тщетно. Так можно было плутать долго, больно ударяясь об углы столов, стульев, кроватей. А можно было просто сдернуть эту удушливую тряпку и бросить в лицо игравшим: «Все! Баста! Играйте сами!» И так бы я, в конце концов, и сделал, наплевав на правила игры, если бы не наткнулся на чье-то лицо, коснувшееся моих ладоней. «Есть!» — прокричал я и сдернул тряпку. Свет ударил мне в глаза, и я зажмурился: мне уже не было дела до того, кто оказался пойманным.

— Так кто это? — раздался вкрадчивый голос, и я не выдержал. Волна света ослепила меня, и сквозь вспыхнувшую сетку отраженных лучей я успел разглядеть лицо знакомого мне человека. То был мой новый дед, и, прежде чем зажмуриться, я подумал: где же я его видел?.. где?

Он стоял в дверном проеме, лукаво улыбаясь, и словно сдерживал своей статной фигурой поток падавшего на него света. И тогда мне показалось, мне, по-новому увидевшему своего неродного деда, что так не мог выглядеть обыкновенный человек, не помнивший о солнце. Быть может, он был из той редкой породы людей, что несут в себе свет в любую погоду — свет, зажженный самым сокровенным чувством. И мы с сестрой невольно тянулись к его свечению, грелись в его лучах и согревались — тепла хватало и на нас.

4

Прошла зима за окном, стылая, неподвижная, от оцепенения которой нас оберегала любовь двух уже немолодых людей в нашем доме. И с первыми весенними днями я все чаще появлялся на улице ипил — да, захлебываясь, пил опьяняющий воздух чудившихся мне волшебных перемен. Казалось, все пойдет гладко и стремительно, подобно ходу санок, спускавшихся по ледяному насту последней снежной горки: молодые двинутся вслед за старыми молодыми, мать встретит человека, единственного и на всю жизнь, и я полюблю его как родного отца. Он приблизит к моему лицу свои большие ладони, и по их извилинам я буду читать его судьбу — а значит, и свою. Потом он обхватит меня и вознесет своими сильными руками высоко-высоко к небу. Мир откроется как на ладони — весь наш двор, весь наш город, и по огромной тени этого человека на асфальте я стану вести счет новому времени... Но пока я слонялся по двору без дела, вдыхая в себя запахи весны, запахи распускавшихся березовых почек, и казалось, так пахла и моя надежда.

Как-то солнечным мартовским днем, когда кругом все таяло обильными ручьями, когда мокрый асфальт сиял зеркальными пятнами неба, я незаметно для себя ступил на хлипкую грязь пустыря и поскользнулся, и тут же из прозрачного, перетекавшего земными испарениями воздуха густо материализовался рыжий Серик, наш дворовой покровитель, со своей неизменной свитой. Они долго и насмешливо наблюдали за тем, как я барахтался, брызжа грязью, на пятачке растоптанной земли. И вдруг рыжий Серик приблизился ко мне, тронул за локоть и вкрадчиво произнес: «Слушай, а почему ты не с нами?»

— Да так, — буркнул я, не зная, что ответить.

Тогда Серик хитро подмигнул своим товарищам и, словно примериваясь ко мне, осторожно произнес: «Слушай, давно хотел спросить, а ты кто, вообще, по национальности?»

— Кореец, — ответил я и почему-то густо покраснел.

— А почему у тебя дед русский?

Я промолчал, решив не продавать деда — он стал мне как родной.

— Какой же ты кореец, если у тебя дед русский? Что-то ты темнишь... Ага, раз ты кореец, скажи что-нибудь на своем.

— Собака еля-еля и околеля, — елейным голосом произнес драчливый Еркешка, и все дружно рассмеялись.

Я стойко молчал. Что я мог им ответить? Мой родной язык остался там же, где и мой отец.

— Ну что ты молчишь? Не знаешь? — как-то обрадованно закончил рыжий Серик. — Вот мы все знаем свои языки, кто казахский, кто уйгурский, кто немецкий... Правда, ребя?

Все неуверенно закивали в знак согласия.

— Э-ээ, браток, — продолжал философствовать мой мучитель. — Ты не кореец, ты и не русский вроде бы, ты... да, ты — выродок. Вы-ро-док! — И тут же по-отечески приобняв меня, рыжий Серик подхватил: — Но это ничего, ты не расстраивайся. Будешь с нами, всему научишься.

— И корейскому тоже, — вставил Еркешка, и все опять дружно рассмеялись. — Пошли, пошли с нами...

Через несколько секунд я следовал за веселой компанией, прокусывая себе до крови губы. Впереди бодро маячила спина рыжего Серика, я уже шел нога в ногу со своими новыми друзьями, и мне казалось, что отца у меня больше не будет никогда. Я вспомнил его тень на асфальте, по которой я готовился отсчитывать ход новому времени: она сокращалась на глазах, худела, горбилась, вдруг слилась с моей, маленькой и уродливой, послушно шагавшей куда-то.

5

А двор на все лето захватила очередная игра, военные учения — что-то среднее между «индейцами» и «войнушкой». В начале июня по телевидению прошла передача об американских «зеленых беретках», и вся детвора дружно принялась вытачивать себе деревянные автоматы — точь-в-точь как у тех, за океаном, — выискивать в пыльном хламе кладовок высокие сапоги со шнурками, мазать одежду маскировочными пятнами. Ребята постарше муштровали младших товарищей на случай грядущей военной опасности со стороны соседних дворов и изошрялись в этом, как могли. Нам — мне и еще нескольким одногодкам, составлявшим отдельный боевой отряд, — досталась канава. Мы ползали уже целое лето — пристрастия наших наставников были на редкость однообразны, — и мне часто по ночам снилась эта муштра, эта игра, эта полынь и крапива. Я засыпал и полз. Я просыпался и продолжал ползти.

Наступал вечер, и двор огромной зернистой лепешкой дожаривался на медленном огне издыхавшего дня. Я прибежал домой, наспех ужинал и садился напротив телевизора так, чтобы краешком глаза заметить возвращение деда. Дед обыкновенно приходил поздно со своих репетиций и спектаклей, приходил уставшим, но непременно был весел, полон свежих театральных анекдотов. К нему сразу же, побросав свои дела, сбегались женщины нашего дома — бабушка, мать и сестра, — и я великодушно ожидал, когда закончится на кухне их уважительный бабий треп.

Отужинав, дед поудобней усаживался в старом кожаном кресле — кресло грустно вздыхало, выгоняя из мехов скопившийся воздух, — и, глядя поверх моей головы, сердито спрашивал: «Ну что-с, молодой человек, чем меня порадуете?» И я буквально бросался к нему со своими мужскими вопросами, ведь за несколько часов до сна мне надо было узнать о многом. Отвечал он всегда степенно, не спеша, — так, что каждое выговариваемое им слово обретало в моих глазах высокую, недостижимую для меня значительность. И когда я спросил его о том, о чем не мог не думать в последнее время, а тут же пожалел о содеянном, увидев лицо человека, ставшего мне родным. Но сказанного уже было не вернуть. Дед как-то растерялся, побледнел и, выждав несколько секунд, произнес: «Почему ты меня спрашиваешь об этом?»

— Потому что меня спрашивают об этом, — выдавил из себя я.

— Ты — человек, — говорил дед, глядя сквозь меня, сквозь стены куда-то в одному ему видимую даль, откуда, казалось, он выбирал нуж-

ные ему слова. — И не твоя вина в том, что ты остался без отца, без родного языка. Помни о другом: о том, что эти люди еще долго будут задавать тебе такие вопросы, потому как считают своей родиной свой кусок хлеба, свой уют и покой. И каждый непохожий на них, пусть даже мелочью, — вероятный их враг. А вдруг он отнимет их кусок хлеба? Но если их намного больше, они проявляют снисхождение. Это как... в колхозном саду. Поймал сторож сопливого мальчишку, сорвавшего с дерева одно зеленое яблоко. Ведет голодного оборванца к председателю колхоза и, умиляясь собой, говорит: «Вот, Тимофей Кузьмич, поглядите, какой я добрый: мальчик в саду яблоки воровал, а я вот не заругал его, а еще два дал. И все под вашим чутким... Вот, поглядите...» Так вот, самое страшное, если этот мальчик вдруг поймет правила этой нечестной игры и ради своего желудка подладится под сторожа: будет ходить по окрестным деревням, восхвалять доброту сторожа, а значит — и председателя колхоза. В неурожайный год он будет сторониться своего покровителя, прятаться за деревьями, не принесшими плоды, но на людях все равно будет хвалить его впрок, на будущее. Ведь наступят же в саду лучшие времена... — Дед остановился, сглотнул подступивший к горлу комок, поморщился, словно ему было больно говорить. — Помни об этом и... иди спать, уже поздно. В следующий раз я расскажу тебе, как твоя бабушка оказалась здесь и почему ты сейчас рядом со мной. Иди спать, иди...

Но следующего раза не оказалось. После этого разговора дед возвращался домой поздно, глубокой ночью, когда я уже спал. В театре шли последние репетиции накануне гастролей. За день до отъезда поздно вечером к нам пришел молодой казах, ученик деда. Лицо его было бледным, прядь черных волос прилипла к потному лбу. Рукой он разминал плотно набитую трубочку сигареты, собираясь закурить, сигарета от судорожных движений пальцев рвалась и рассыпалась, тогда он доставал новую, бросая испорченную прямо на свежeweымытый пол. Он прошел в гостиную, не снимая обуви, и плюхнулся в дедовское кресло. Кресло издало под ним протяжный стон — так же, как и под дедом, — и мне почему-то захотелось пнуть его по истертой кожаной обивке. Вслед за ним вошла бабушка и кивком головы велела мне удалиться. Я закрыл за собой дверь, но остался там же, у порога.

Через несколько минут бабушка вышла, как обычно, прямо держа спину, расправив плечи. Она была совершенно спокойна и, мне показалось, даже чуть улыбалась. Я хотел было украдкой спросить ее, зачем пришел к нам этот мужчина, но бабушка как-то растерянно взглянула на меня, стоявшего на ее пути, и бодро, как всегда четким поставленным голосом произнесла: «А дед-то наш, а дед...» Затем, так и не досказав, она удалилась на кухню и плотно затворила за собой дверь. Я услышал, как зажглась спичка, и через несколько секунд раздался грохот упавших кастрюль и тарелок. Я открыл дверь и вошел, следом за мной вбежал гость, из дальней комнаты вышла на шум сестра, готовившая уроки. Бабушка лежала на полу, уставившись на нас неподвижным бессмысленным взглядом. Одна рука ее была как-то неестественно подвернута под тело, другая, выброшенная в сторону, покоилась, нестигаемая, среди осколков разбитых блюд. Она лежала совершенно неподвижно, и только сигарета, зажатая между кончиками ее пальцев, клубилась таявшими завитками сизого дыма и мелко-мелко дрожала.

Мама велела надеть мне черное, но черного у меня не было: только синяя школьная форма и множество пестрых рубашек и футболок. Тогда она принесла откуда-то черный суконный пиджак, бросила его на мою кровать и сухо произнесла: «Примерь». Пиджачок был старого покроя, с несуразным широким воротником и большими деревянными пуговицами. Сукно было плотным и отдавало нафталином, а к его шершавой поверхности прилипли чьи-то рыжие волосы и ворсинки. Я брезгливо осмотрел его со всех сторон, тяжело вздохнул и засунул правую руку в рукав. Пальцы коснулись прохладной шелковой подкладки, и тут я вспомнил, как дед надевал свои пиджаки, когда собирался в гости. При этом всегда присутствовала бабушка, держа наготове за кончики плеч отутюженную одежду. Лицо ее было серьезным и не к месту сосредоточенным. Дед частенько куражился, отходил на несколько шагов от жены и вдруг начинал изображать из себя быка, преследующего матадора. Бабушка, матадор с мулетой в руках, терпеливо ожидала окончания этого представления, иногда картинно закатывала глаза, тяжело вздыхала. Наконец, бык прицеливался и делал свой смертельный выпад — дед втыкал с разбега руки в зияющие дыры рукавов, хватал матадора за тонкую талию и под свой заразительный детский смех отрывал его хрупкую фигурку от пола. Бабушка болтала ногами в воздухе и, с трудом сдерживая улыбку, говорила: «Сколько можно, мы же опаздываем, перестань паясничать!»

Рукав пиджака оказался длиннее руки чуть ли не на целую кисть, но я все равно надел его и застегнулся на все пуговицы. Горловина была узкой, и я никак не мог зацепить крючком петлю,вшитую на воротнике. «Станный пиджак, — думал я, стоя перед большим, в человеческий рост, зеркалом. — Кто ж такие носит? И откуда мать его взяла?» Я представил себе его хозяина — худого, с длинными костлявыми руками и маленькой птичьей головой. У него были рыжие слипшиеся волосы, неопрятно стелившиеся по спине, острый кадык и выпуклые жилы, удушливо обивавшие синими змейками корявый ствол его длинной шеи. Не хватало только лица, но и без лица он был мне уже омерзителен. Он бесшумно крался на цыпочках по комнате, низко пригнув голову. Так он приблизился ко мне, и из небытия, из глубины зеркала вдруг выплыла его черная фигура, а вместе с ней пятно головы ярко вспыхнуло огненным пламенем рыжих волос... Затем все исчезло.

Пальцы от напряжения дрожали. Наконец, воротник застегнут, и вот я стою как истукан, по стойке «смирно», перед зеркалом, не зная, что делать дальше. Мать в комнату еще не заходила, а я почему-то боюсь выйти: там много незнакомых мне, чужих людей, пришедших «разделить с нами обрушившееся на нас горе», да еще этот рыжий человек с пятном вместо лица все кружит и кружит вокруг меня. Вот он опять приближается, хватая меня за руку своими ледяными пальцами и уводит меня поглядеть, как все *это* произошло. Я знаю: все, что он покажет мне, будет неправдой, ведь мать и бабушка уже столько раз выслушали эту историю с начала до конца и, верно, выучили ее наизусть, прожили ее, впитали с кровью, словно они сами были там на шоссе с дедом, и мне, верно, не надо знать всего этого, но он все тянет меня, уводит в ту глухую страшную ночь. И он сильнее меня, он тычет лицом меня в корявую проволоку придорожного кустарника, и я уже вижу, как на плоскости

шоссе, залитой светом ночных фонарей, появились две маленькие фигурки, одну из которых через несколько минут сравнивает с землей хрипящий черный пьяный грузовик...

На похороны меня не взяли. Я слонялся в одиночестве по опустевшим комнатам, натываясь на стулья, столы, кровати. Зачем все это теперь нам, думал я, возвращался в детскую, ложился на топчан и тут же вскакивал. На нем, по-хозяйски раскинув пустые рукава, лежал не пригодившийся мне пиджак. Он зловеще торжествовал, переливаясь своей черной атласной подкладкой, я отворачивался, отходил в сторону, но нет-нет да оглядывался назад: вдруг материя оживет, наполнится ненавистным мне телом, из горловины вырастет шея, синяя и худая, и пойдет кружить, плясать по комнате, по двору, по всему этому сиротскому миру, огненно-рыжая шапка волос.

День завершился суматошно, суетно. После похорон в дом пришли чужие люди, среди них была бабушка, еле ходившая после приступа, ее вели с обеих сторон под руки. Мама намочила в ванной полотенце и молча при всех обтерла ей выпачканные в земле коленки. Меня как-то незаметно оттеснили к стене...

...Рядом со мной лежала мать. По ее неподвижному лицу серебром лунного света растекался сон, оседая синевою глазных впадин и скул, скатывался невесомыми воздушными каплями с кончиков ее чуть подрагивавших пальцев. Я глядел на ее лицо, излучавшее чуткий покой, на тело, отравленное усталостью, и жалел мать, бабушку, сестру, себя. Что с нами станет сегодня, когда наступит утро? Мне стало тревожно. Нельзя же так лежать. Надо что-то делать.

Я вскочил с постели и, не нашарив тапочек, вышел босиком из комнаты. В коридоре стояла тьма, и я, выставив вперед руки, осторожно шел по холодному дощатому полу. Вот скользкая плитка кафеля, вот шероховатость одежды, шуршавшей на вешалке, вот гладкий изгиб выключателя на стене. Рука замирала в воздухе. Зачем все это? Казалось, к моим пальцам было протянуто множество нитей, связывавших меня с невидимым миром вещей. Стоило натянуть одну из них — и вещь осязлась, вторгалась в сознание своим непреложным именем; тогда и ты на другом конце нити становился тем, кем ты числился в этом мире, со своим именем или кличкой, со своим прошлым.

Это опять была игра. Странная игра! Нарушил бы я ее правила, включил бы свет... и вот я стою босиком на холодном полу с мучительным знанием того, что нет у меня больше деда, давно нет отца... кругом все спят спасительным сном забвения и, верно, совсем не желают просыпаться, не желают знать, что будет завтра.

И вспомнилось мне, как год назад проводила мать генеральную уборку и мыла окна. На дворе стояла весна, солнечная и слякотная, от лютой зимы — ни следа, лишь полоски бумаги в оконных щелях, слой грязной ваты между оконными створками; да вот заклинило у нее шпингалет, и никак окно не открыть, принесла мать отвертку, молоток и зубило, примерилась зубилом и попала себе по пальцу, не страшно, вскользь, но так разрыдалась, выкрикивая: «Как будто в доме мужчин нет! Как будто... нет!» — что опешил я, хотел было сказать, что их в самом деле нет и не было — дед на гастролях, а я еще неполноценный, — но понял я по тому, как горько и долго плакала она, что не мне мать высказала свою обиду, и не деду, находившемуся за тысячи километров от нас, а какой-то чужой слепой силе, что отобрала у меня отца, оставшего-

ся в другой стране, угнала куда-то родного непутевого деда, о котором только и положено было, что дружно молчать, и разозлился я, разозлился и бросил ей: «А я что тебе, не мужчина?» Разозлился и взял молоток, да как ударил по створке со всей своей мужской силы (на подоконнике вмятина, шпингалет выбит), и вот только я раскрыл окно — пролился яркий свет, и мать взглянула туда, за оконную раму, и как-то по-новому осветилось ее заплаканное лицо — чистое, словно омытое дождем, унесшим последнюю обиду, — задумалась она, притихла, глядит в согретые весной пространства, полные первого цветения, и я притих, вижу, как зарозовела тонкая кожа ее лица, прожилки светятся голубым, глаза широко распахнуты, еще полные слез. И понял я тогда, понял сердцем наперекор рассудку, что никуда не денешься от этой злой силы — она еще долго будет разбивать, кромсать, уничтожать, надо просто чаще сидеть вот так у раскрытых окон, в отсветах солнца и радужного цветения природы, потому что вон как прекрасна эта умиротворенная женщина у окна, и, наверное, все люди могут быть так прекрасны, лишь бы меньше было пыли, темноты и сырости...

Но то случайное открытие не радовало меня сейчас, точно я приблизился к памятному окну с другой стороны, против света, и виделась мне мать со спины, с затылка, с взлохмаченными волосами, и вот я бесшумно приближаюсь к ней, не зная, как сообщить ей о том, что слова ее оказались пророческими, трогаю ее за плечо, набираю в легкие воздух и выдыхаю: «Мама, у нас нет больше в доме мужчин, нет...»

— Что? — Она медленно поворачивается ко мне. — Что ты сказал? Повтори, повтори сейчас же...

Я вижу, как потемнело, состарилось ее лицо, слышу ее отрывистые слова, ее тяжелое дыхание. Вздох. «Что, что ты сказал?» Выдох. «Повтори, повтори, что ты сказал...» И больше ни слова, лишь губы ее — трубочкой мертвого звука, и откуда-то из самых ее глубин нарастает новый, еще еле слышимый звук.

— Уууу... ууу...

И я уже бегу, бегу ее лица, ее рук, сжавших до побелевших косточек подлокотники кресла, бегу ее голоса, мне страшно — ведь только с ней я осознал весь ужас случившегося, — и вместе со страхом во мне нарастает, подобно этому странному звуку, моя кровная обида. Зачем, зачем я родился?

— Уууу... ууу...

А звук не исчезал: он плыл, он длился уже в окружавшей меня реальности.

Я взглянул на свет — он струился из полуоткрытой комнаты. Я пошел к дверному проему и увидел бабушку. В приглушенном свете ночника она стояла на коленях и мерно раскачивалась.

— Уууу... ууу... — раздавалось из комнаты, и этот звук исторгала маленькая седая женщина. Она долго глядела на меня, и вдруг глаза ее озарились теплым огоньком радости.

— Саша? (Так звали моего деда). Ты?.. Где ты так долго был?

Я испуганно молчал, а она, вытянувшись всем телом в мою сторону, спешила говорить дальше:

— А я все жду тебя, жду и не сплю. Ты ведь еще не ужинал?

Бабушка опустила ладони на пол и попыталась подняться. Я тут же спрятался за дверь. Наступила мертвая тишина, и, выждав несколько минут, я не выдержал. Бабушка сидела, как и прежде, сложив руки на

коленях, прямо держа спину. Она чутко озиралась по сторонам, словно комната была полна живых голосов, шорохов и звуков, и вдруг плечи ее, обмякшие, задрожали.

Я стоял за дверью и слушал ее плач. Нет, это был даже не плач, а какой-то безличный звук, в котором зачавший его же голос полностью растворялся, теряя свой тембр, свою интонацию. Казалось, этому звуку было много-много лет, много веков, и бабушка лишь присоединяла тихим голосом свое одиночество к звучащей древности. Быть может, еще с тех пор как первая женщина на Земле вытолкнула из своего чрева кровную пульсирующую плоть, давая начало всему человеческому роду, — уже тогда в тайных уголках ее души среди пения радости по новорожденному нарождалась скорбь по возможной грядущей утрате, и первый крик склонившейся над смертью сына или мужа женщины отправил в бесконечный путь первую волну скорби. С тех пор этот звук не мог стать достоянием одного голоса, он летел из века в век над землей, обрастая плачами жен и матерей, обитавших в невыносимой пустоте своего одиночества, и люди в разных городах и странах вдруг обращали свои лица к нему и вздрагивали, узнавая в этом плаче отголоски своих прошлых утрат. И вот летит сейчас эта монотонно звучащая древность, безликая и величественная, отшлифованная миллиардами скорбных голосов, и теперь бабушка, новый голос, тянется до высоты ее полета, но обрывается и лишь беззвучно плачет, а древность летит дальше, исчезая в тишине, — что ей горе одного человека? — летит навстречу новым голосам, новым утратам, а я распахиваю настежь дверь, врываюсь в комнату и кричу: «Ами, ами, не плачь!»

Через две недели я уже находился в пионерском лагере. А еще через несколько дней я позвонил домой и узнал о случившемся.

Мать долго и отрывисто выговаривала эти страшные слова, и первое, что охватило меня в тот момент, был испуг, а затем уже — малодушное облегчение: я был далеко и мог спокойно осознать произошедшее. Но когда я сел в автобус с парусиновым чемоданчиком в руке, во мне все замерло: бабушки больше не было. И когда я поднимался на третий этаж по каменным ступеням лестницы, слыша, как гулко отражаются в колодце подъезда мои тяжелые шаги, где-то между вторым и третьим я словно впал в липкий дурманящий сон, полный беспросветного уныния, мне не хотелось никуда идти, так бы и двигаться на одном месте, лишь бы не видеть двери, обитой черным дерматином... Я прошел лестничную площадку — последнюю, — встал на половик и уставился в глазок, встроенный в дверь. Как жаль, что нельзя наоборот, думал я: увидеть, что творится там, в квартире. Так я простоял несколько минут, тупо разглядывая мутный кружок стекла со светящейся точкой в центре.

Я тихо прикрыл за собой дверь, споткнувшись о чью-то обувь, выстроенную в длинный ряд. Из дальней комнаты вышла сестра, она молча приблизилась ко мне, приобняла за плечо и степенно поцеловала меня в лоб, совсем как взрослая, познавшая всю горечь жизни женщина. От смешливой девчонки, которая неумело красила ресницы и была старше меня на каких-то четыре с половиной года, не осталось и следа.

— Уйди, уйди, — раздраженно бросил я ей, холодно отводя ее руку: женской опеки в этом доме мне хватало сполна.

Я вошел в бабушкину комнату, силясь не зажмуривать глаза, но гроба не увидел. Комната была вся заставлена мебелью — столами, стульями, вынесенными из другой комнаты, и какими-то тюками с тряпьем.

Я прикрыл дверь и направился в дальнюю — туда, где обычно спали я с мамой и сестрой.

В первое мгновение я увидел мать. В тот момент, когда я вошел, она размахивала рукой над столом. Лицо ее выглядело усталым, осунувшимся, с густой синевой под глазами. Она была одета в черную шелковую кофточку с напускными рукавами и узкую черную юбку. Губы ее с опущенными уголками были тонко поджаты, на бледном виске отчетливо выделялась синяя, вздувшаяся, совсем не женская прожилка. Глаза ее глядели вниз, как будто на руку, рассекавшую воздух. Я пригляделся к ее руке: примерно в двадцати сантиметрах от ее пальцев белело утопленное в темных складках материи лицо, и я содрогнулся: черты его были ужасающе знакомы. Мама как-то очень сосредоточенно ограждала покойницу от назойливой бесновавшейся мухи и очень нервничала. Муха исчезала, а она все стояла без движения, не поднимая глаз, не зная, куда спрятать свои лишенные работы руки.

Гроб был затянут красным сукном, такого же цвета была скатерть, покрывавшая стол. По краям гроба примерно на одинаковом расстоянии друг от друга висели разглаженные, аккуратно сложенные белые платочки. Напротив матери по другую сторону от покойницы стояли старики корейцы и корейянки. Один из них обернулся ко мне, лицо его показалось мне знакомым по фотографиям из семейных альбомов, и я понял, что это кто-то из бабушкиных родственников или друзей. Он подошел ко мне, положил ладонь на мою голову и, ласково подталкивая меня к выходу, произнес: «Пойдем, пойдем, внучек. Вот ами и ушла от нас...»

— Помнишь ли ты дядю Михаила? — спросил знакомый незнакомец, усаживая меня за кухонный стол. Я глядел на старика, словно вышедшего из картонных рамок семейных фотографий, и безмолвно качал головой. Он достал из буфета початую бутылку водки, налил себе полстакана и молча выпил, не закусывая.

— Должен помнить. Ты, кажется, тогда в школу собирался... — продолжал дядя Михаил, не дождавшись от меня ответа. — Катя тогда только собиралась замуж во второй раз.

Я услышал его глубокий вздох, потом увидел, как старик отвел глаза к окну и о чем-то задумался. Лицо его ровно залил свет, падавший из окна, и мне открылась какая-то старая печаль его многолетнего сердца, лишенная тени повседневных забот. Он достал из кармана пиджака папиросы и, размяв одну пожелтевшими от табака пальцами, закурил.

— Никто из наших не одобрил ее второго брака. Я один защищал Катю. «Ну и что, раз артист, — говорил я, — ну и что, раз русский». Но все — Марта, Лиза, Иннокентий, — все в один голос оправдывали Самсона и называли Катю легкомысленной. А бабка твоя сказала как отрезала: «Я жить хочу... счастья хочу, а не играть в эти дурацкие семейные игры». То счастье, о котором говорила Катя, было нам непонятно... может, оно было когда-нибудь, но давно померкло, стало привычкой. Тебе, наверное, непонятно, о чем я говорю? — спросил старик, вдруг вспомнив обо мне, но лицо его неудержимо тянулось к свету, глаза — к глубине заоконного пространства, из которого нарастали его воспоминания, и он лишь добавил: — Ты слушай, слушай, ты ведь уже большой... Так вот, тогда-то я и пришел сюда поговорить с Катей. Глупо, конечно... Все это, в самом деле, игры. А как из них выйти, а?

В комнату тихо и незаметно вошла мать.

— Покушайте, мадабай, — сказала она, сняла с миски, стоявшей на столе, тарелку и придвинула ее, полную кукси, гостю.

— Ну, что там? — устало спросил дядя Михаил, обернувшись к ней.

— Старики остались, меня отправили, — вздохнула мать, поправила волосы неверной рукой и вдруг заплакала.

Некоторое время мы сидели молча, потом вошли двое мужчин, куривших у окна в гостиной. Мать затихла; тишина тяжелым кубом покоилась на наших плечах, и вдруг один из вошедших не выдержал.

— Вот скажите нам, мадабай, разрешите наш спор. В каком году сослали первых корейцев в Казахстан?

— Думаю, первых — в тридцать четвертом, — ответил старик, слегка приосанившись и пользуясь возможностью продолжить начатый со мной разговор. Заговорил дальше: — Да что цифры, даты? Все это опять игра, игра в историю. То так, то эдак... Твоего деда, — вновь обратился он ко мне, — везли на грузовой в тридцать восьмом. Так вот, забросили их глубокой ночью в Джамбульскую область, поскидывали из машин людей, тюки с одеждой. Кругом степь, колотун, травинки под ногами тоненькие, стелются по земле, и люди как травинки гнутся, ползают по степи, собирают свои манатки. Прямо возле машины шофера с уполномоченными фляги откупоривают и хлещут кружками спирт... даже корейцам предлагают. Трезвые глаза не принимают всего этого — так вот спирт на то специально выдали. А бабы воют, бросаются им под ноги, за брючины хватают, землю грызут... Машины освободили, обратно ехать надо, за новыми партиями... — дядя Михаил налил себе еще полстакана, выпил и слегка закусил.

— Ну вот, уехали, значит. Пьяными поехали; машины болтает, а они специально — по кочкам, по ухабам, на всем газу: наверное, чтобы сильнее трясло — да всю память и вытрясло. А люди все ползают по степи, стонут, плачут. Дети от воплей изошлись. Свидетелей нет, не к кому с вопросом обратиться. За что-о-о? Детей-то за что? Одни звезды над головой, да и те далеко. Как картошку из мешка высыпали, а обратно кто сложит? Куда? Зачем?... Дошли до кургана, не всю же ночь по степи ползать. Решили: женщины с детьми, старики у кургана лягут, все ж меньше задувает; сверху мужчины их спинами накроют и — чтобы не спать. Так и дождались утра, а утром еще в сумерках чабаны ничего понять не могут. Курган белеет. Вроде снега не было. Приблизились и ахнули. Это же люди! Спины, спины... Закопошились, а там, за спинами, как за скорлупой — женщины, старики и дети. Вот задали чабанам такую загадку... Кто это на неизвестном языке разговаривает? Да все и так понятно. У беды язык один. Тогда поднялся на склон Кан Хо Ын, крепкий и жилистый мужик, на Сахалине лес валил, и говорит всем: «Собирайтесь, идти надо». — «Куда?» — «Никуда. Просто идти». И пошли. Впереди мужчины и позади, посередине — женщины, старики, дети... Солнце в казахской степи жаркое. Пот ручьем. Так и шли, грязные, оборванные... В селениях останавливались. Кто такие? Что за народ такой страшный? Там же и оставались. Другие дальше шли...

Дядя Михаил тяжело вздохнул, откинулся на спинку стула и как-то виновато взглянул в окно. Я глядел вместе с ним в дымчатую даль гор Заилийского Алатау, покойных и неприкосновенных, и взгляд мой не выдерживал их неземного покоя, срывался вниз, растворяясь в пестроте домов, зданий, беспомощно тянувшихся своими бетонными култышками до их высоты, высоты молчаливых гигантов. Но уже оттуда, с гор, доно-

силс рокот: двинулись в путь, спускаясь с травяных ладоней, другие гиганты — скорбные корейские переселенцы. И вот в окно уже было видно, как надвигаются они, разрастаясь на глазах, возносясь над улицами и крышами, и уже близки, неотвратимы их шаги, еще чуть-чуть — и взорвется оконная рама, взломается под ожившим, налившимся плотью памяти полотном картины тридцать восьмого года.

Неожиданный телефонный звонок вывел нас из оцепенения. Все вдруг засуетились, и я выбежал в прихожую к телефону.

— Привет, — услышал я в наушнике вкрадчивый голос рыжего Серика. — Ты что, сбежал из лагеря?

— Нет, мне надо было... — ответил я, мечтая никогда не слышать этого голоса. — Знаешь, позвони попозже, я сейчас не могу.

— Подожди, стой. Ты что, забыл?

— Что?

— У нас же сегодня учения в канаве...

— Какие учения? — поперхнулся я от негодования.

— Васька один не желает, а тебя мы вычислили, как ты с чемоданчиком по двору шел. Кхе-кха... — наполнялся самодовольствием голос. — Мафия бессмертна...

— Я же сказал тебе. Сегодня никак...

— Никак, да? А присягу ты давал? Где же твое слово? — злобно произнес рыжий Серик. — Забыл, как у Еркешки кулаки чешутся? Ну, ну, смотри, потом хуже будет...

Я молчал, изо всей силы сжимая телефонную трубку с ненавистным мне голосом.

— Короче, чтобы через пять минут был...

Я вернулся на кухню, там сидел в полном одиночестве захмелевший дядя Михаил. Старая, на время забытая тоска охватила меня, и я вспомнил, что живу я именно в этом дворе и жить со своей тоской мне предстоит еще целую вечность. Я хотел было подойти к дяде Михаилу, дернуть его за рукав, разбудить и сказать, что не так уж и просто нарушать правила игры. Но как он мог мне помочь? В этот момент он не был похож на победителя, и я засомневался: а сам он... сам всегда ли следовал своему принципу? Я глядел на этого сонного старика, не замечавшего никого вокруг себя, и меня вдруг объял ужас. Надо что-то делать... Не ждать и не спать. Надо как-то покончить со своей зависимостью, с рыжим Сериком, с шестеркой Васькой... Но как? Как? Мне и спросить-то не у кого. Отец, дед, бабушка — их больше нет. Как жить дальше? А жить так хотелось. Легко и свободно. И родной мой дед, и остальные, оттуда, из степи, они же все-таки пришли, спустились с гор... великанами, какими я, внук Самсона, увидел их из окна. Значит, и я должен идти дальше, вперед... Ничего, думал я, все будет хорошо, надо просто перетерпеть, зажмуриться, как в той игре, и доиграть до конца с удушливой повязкой на лице, а там... А там!

И тут мне стало как-то легко и радостно. Проползу быстро, раз они ждут, решил я, и — обратно, домой, никто и не заметит моего исчезновения, и все... больше никогда, так и скажу им. Больше никогда!

Ваське выпало ползти первым. Я с нетерпением наблюдал за тем, как раскачивались, услужливо раздвигаясь, лопухи и стебли крапивы над его

взмощей спиной. Рыжий Серик, засунув руки в карманы своих новых джинсов цвета хаки, шел вслед за ним. По другую сторону канавы стоял Еркешка, лениво наблюдавший за ходом учений.

— Гни, гни спину, — покрикивал главный. — Тебя же видно, как же ты будешь потом... Они сразу же тебя вычислят. А если ты будешь с камнями и палками? Гни, гни спину.

Васька старался — спина его то исчезала, то вновь поднималась над землей.

— Доползешь до магазина и обратно. Время я засекаю, — Серик поглядел на часы и подмигнул мне весело, довольный моей верностью и послушанием. — Сколько бьешь над вами, все толку мало. Может, ты лучше проползешь? — участливо обратился он ко мне. Тут к нему подошел Еркен и стал что-то нашептывать ему на ухо. Серик прищурился, не отводя от меня взгляда, и я понял, что речь идет обо мне.

— Ладно, на сегодня тебе одного раза хватит, только туда, — задумчиво произнес он и повернулся к Ваське. Его красная рубашка уныло раскачивалась в проеме канавы, он уже не пытался прятаться и гнуться — лишь бы проползти.

— Во, кляча! — крикнул Серик и осекся. Васька вдруг встал без команды. К нему подошел какой-то мужчина, вышедший из магазина с бутылкой в руке. Он, по всей видимости, о чем-то спросил Ваську, затем направился к нашу сторону.

— Вы что же это вытворяете?! — кричал Васькин спаситель и уже издали угрожающе размахивал рукой. — Раз он один, значит, все можно?

— Не твоя забота, — спокойно ответил Серик, но стал потихоньку пятиться назад.

— Вот я тебе сейчас дам! — ускорил шаг мужчина, но тут его окликнули. У магазина стояли двое, тоже с бутылками, и махали ему руками. Они явно спешили. Им надо было в другую сторону.

— Смотри мне, выловлю в следующий раз, я здесь часто бываю, — показал кулак третий и пошел догонять своих товарищей.

— Часто бываешь. Иди, иди, — насмешливо произнес Серик. — Папаша нашелся, воспитывать. Алкаш вонючий. Много вас здесь ходит. Глаза зальют — жалеют, протрезвятся — никого не видят, рубли сшибают. Ниче, Ваське за измену достанется. Ну давай, давай, теперь твоя очередь, — он похлопал меня по плечу, и я опустил на колени.

— Во, во, у тебя лучше получается, — раздавался надо мной голос мучителя. — Вот так. Почти не видно. Голову, голову опускай...

Канавка была узкой, в ней еле помещалось тело. Я полз, упираясь локтями в бетонные плитки, бороздя коленями неглубокое земляное дно. Преодолев несколько метров, я останавливался, поднимал голову — долго ли еще? — и переводил дыхание.

— Давай, давай, молоток, тебя почти не видно, — преследовал меня командный голос, я полз дальше.

Пот лился ручьями, застывая глаза, я тряс головой, но тут же все вокруг — трава, небо, деревья — растворялось в мутном и теплом. Я тряс головой снова — на мгновение прояснялся магазин с вывеской «Продукты», — но сразу же опускал ее: вдруг кто-нибудь увидит. Вдруг мать из окна или кто-нибудь из соседей увидят меня в таком унижительном положении. Что тогда я им скажу? Что я решил ползти по канаве в день похорон моей бабушки?

Я больше не выглядывал из кустов крапивы, я полз, низко пригнув

голову, пытаясь как-то развлечь себя. На дне лежали камешки, осколки стекла. Уныло перебирая руками, ногами, я разглядывал весь этот мусор и думал: «Лучше бы я был вот этим осколочком или камешком, или вот этой крапивой... на время. А кто-то другой ползал бы вместо меня по этой крапиве, обжигал бы себе лицо, разбивал бы себе колени...» И я уже стал увлекаться этой новой мысленной игрой, придумывать себе ее правила — и вот я уже стоял во весь рост на земле, а лучше — выглядывал из окна своей квартиры, а там, в канаве, барахтался бы кто-то другой... Кто-то другой... Кто-то другой. И тут-то я вспомнил рассказ дяди Михаила, увидел ночную степь, тела, разбросанные по земле, далекие холодные звезды над степью, потом — раскрытое окно на кухне, за ним — дымчатую даль голубых гор... увидел все это и зажмурился, потому как в следующее мгновение перед моими глазами предстало то, чего мне, лежавшему в грязной канаве, никак нельзя было видеть. Но было поздно, память озарило вспышкой стыда...

Они уже шли, огромные, как горы. Спускаясь с холмов, перешагивая через дома и улицы, они приближались ко мне, и я пригнулся, чтобы остаться незамеченным, вдавил изо всех сил грудь в каменистое дно. Но было поздно. Они шли, упираясь головами в слишком низкое для них небо, отталкивая землю, легкий воздушный шарик. А я все втискивался телом в узкую ложбину канавы, мечтая сравняться с землей, стать камешком, или осколком стекла, или травой, крапивой — и, верно, рыжий Серик очень радовался моим успехам.

Но было поздно. Земля содрогалась от их тяжелых шагов. Я приподнял голову и увидел огромные бледные лица, склонившиеся надо мной, и среди них — лицо деда. Рядом с ним стоял крепкий сбитый мужчина с большими жилистыми руками. Наверное, это был Кан Хо Ын, сахалинский лесоруб, самый главный среди переселенцев. Он презрительно взглянул на меня и обратился к деду:

— Послушай, и это твой внук?

— Да, — горько сознался дед и отвернулся от меня.

— Да я... Да я просто играю! — закричал я им вслед, но крик мой потонул в гуле их шагов. Они уже шли, и я, глядя им вслед, тянулся к ним до их высоты, сиюсь вырваться из канавы.

— Я просто играю!

— Он просто играет! — раздавались детские голоса. — Он просто играет!

Я выглянул из крапивы и увидел женщину. Она стояла прямо надо мной, за ее спиной висела вывеска с надписью «Продукты».

— Что же вы делаете? — гневно обращалась она к стоявшим неподалеку Серiku и Еркену. — Мальчишку в грязи заставляете копать.

— Да он сам, он просто играет! — в один голос закричали они. — Не верите? Спросите сами! Он сам...

Я побежал домой, на ходу размазывая и пряча слезы. Одежда моя была вымазана в грязи, лицо было в пятнах и ссадинах. Дверь мне открыла мать, она презрительно взглянула на меня и отвернулась, пряча лицо.

— Что же ты, сын, — говорила, всхлипывая, она. — В такой день решил погулять, повеселиться?

Кухня была полна людей, из комнаты с покойницей выходили другие, незнакомые мне люди. Я незаметно проскользнул в гостиную. Стол, как и прежде, был заставлен стульями. Я забрался под него и втис-

нулся в угол. В гостиную то и дело кто-то входил или выходил из нее, хлопая дверью, мне видны были только ноги, я оставался незамеченным. Затем все стихло, и я услышал чей-то приглушенный спокойный разговор. Я робко выглянул из-под стола и увидел трех стариков-корейцев, сидевших у окна. Они курили. Среди них был и дядя Михаил. Я испугался и спрятался в своем убежище. Может быть, я узнаю что-то о том далеком и страшном времени, о деде, думал я, может быть, в этих тихих неторопливых словах старческой мудрости я найду для себя прощение и поддержку.

Я стал чутко вслушиваться в скрипучий, уже знакомый мне голос дяди Михаила, в голоса его собеседников, но тут же оставил это занятие. Они говорили на моем родном и непонятном мне языке.

8

...Весь дом еще спит, и только из единственно открытого окна на третьем этаже машет мне рукой седая женщина. Она зовет меня тем же жестом, с той же интонацией, как и в те памятные времена моего ушедшего детства, когда я часто по утрам выходил в еще пустынный двор и в утренней тихой свежести вне игр и детских криков искал ответы на свои бесконечные вопросы.

— Иди, иди домой!

— Сейчас, сейчас, мама! — кричу я... кричит худенький мальчик в брезентовых шортах не по размеру. Он глядит на белую стену, всю в отпечатках футбольных мячей, на покосившийся дощатый забор, на скамейки, деревья, на сонные окна и вдруг... упруго отталкивается от асфальта и взмывает вверх, к небу, останавливая в воображаемой игре полет воображаемого мяча.

— Ууух! — пронесится над головой, рассекая неподвижный воздух, невидимый мяч. — Ууух!

А мальчик взлетает все выше и выше, преодолевая притяжение игры, притяжение жизни. И вот он уже совсем высоко, и двор под ним — всего лишь немой пятючок асфальта; он болтает ногами и звонко хохочет, протягивая с высоты своего парения дрожащие нити с серебряными колокольчиками смеха. Дзинь, дзинь, дзинь...

— Мама, мама, смотри, как я высоко!

А она, совсем маленькая, глядит на сына из-под крыши, опуская руки. И он не видит ни ее лица, ни его выражения, но видит только этот отрывистый взмах ее белых рук, полный растерянности. Точь-в-точь такой же, как и в день похорон...

И я вновь вижу, как мать стоит в углу у окна, вспоминает рассказ дяди Михаила о деде, о переселенцах тридцать восьмого года, вдруг взмахивает так же растерянно тающими в темноте руками, взмахивает нервно, точно отталкивает этот навалившийся, загнанный в сумерки опустевшего жилища день, и говорит: «Они шли... Значит, они шли — и дед с ними... Так куда же они пришли? В наши голые стены? В наше горькое одиночество?»

Раздается унылый протяжный звук лопнувшей струны. Что это? Обрываются нити смеха, и мальчик, испуганно зажмурившись, несется вниз, плененный притяжением земли, притяжением жизни.

— Нет, мама! — отвечаю я, упираясь окрепшими ногами в асфальт пустынного дворика.

— Нет, мама, — отвечаю я, вспоминая ее слова, пришедшие ко мне из далекого детства.

Я вижу, как машет мне рукой из окна седая женщина, бросаюсь в подъезд, взлетаю по пролету лестницы, распахиваю настежь дверь и ищу глазами маму.

— Нет, ма... — срывается с моих губ.

Она не глядит на меня, она глядит куда-то вглубь коридора, в сторону бабушкиной комнаты. Оттуда падает белым треугольником на пол свет утреннего солнца, вырисовывается чей-то силуэт. И вот мать протягивает руки, не замечая меня, моего ожидания... и я уже вижу, как бежит, неуклюже переставляя ножками, моя годовалая дочь.

Она бежит навстречу моей матери, отбивая гулким стуком шажков ритм своей, уже наступающей нас жизни.

Она бежит навстречу моей матери, и в ней — вся тщета моих так и не сказанных слов и, может быть, начало каких-то совсем иных, новых.

И я молчу. Что я могу сказать? Ведь о ней совсем другая история. Совсем другая.

